

Я родилась в Холоне, в квартале Джей-Эф-Кей, что в данном случае означает не Джон-Фицджеральд-Кеннеди, чьим именем назван знаменитый аэропорт — врата в вожделенный американский рай, а Джесси-факинг-Каган — врата в преисподнюю, воняющую мочой и гниющими отходами, чьи груды высятся рядом с обожравшимися мусорными баками. Мое короткое детство прошло там, куда боятся заезжать такси и городские автобусы. Я училась ходить на улицах, чей асфальт похож на свежевскопанный огород — и это примерно единственная свежесть, которую можно отыскать в квартале Джесси Каган. Приход субботы здесь отмечается бурлением переполненных канализационных люков, парни еще до бар-мицвы состоят на учете в полиции, а девушки скрывают свой адрес от друзей из других районов, поскольку всякий знает, что в Джесси Каган живут только шлюхи и наркоманки.

Моя мать, чьего имени я не назову, потому что эта сучка не достойна даже собачьей клички, оценилась мною, когда ей едва исполнилось шестнадцать, и наверняка оставила бы в роддоме, если бы не ее сестра Мали, своей волей забравшая меня домой — вернее, в то место, которое условно считалось домом. Когда пришло время регистрировать ребенка, не чуждая юмора мамаша назвала

меня Батшевой — по той неординарной причине, что понятия не имела, кто из семи — а то и семидесяти семи — возможных кандидатов мог бы претендовать на роль моего отца.

На этом она сочла долг материнства исполненным и бесследно смылась из дома, захватив при этом весь недельный навар, который Йоси, старший из ее братьев, едва успевший стать моим дядей, заработал, продавая героин на углу улицы Зрубавель. Мерзавка не могла не знать, чем это грозит: сумма была значительной, и Йосины боссы слышать не желали о задержке. Тем не менее мой дядя не терял оптимизма и верил, что, учитывая годы безупречной службы, ему удастся договориться.

Однажды вечером ему позвонили и велели спуститься во двор. На всякий случай Йоси прихватил с собой двух других братьев. Назад они вернулись без него и на вопрос бабушки ответили, что соглашение о рассрочке достигнуто: им вдвоем предстоит отработать задолженность в течение трех месяцев.

— Почему вдвоем? — удивилась бабушка. — Где Йоси?

Йоси к тому времени уже перестал булькать перерезанным горлом в нескольких метрах от нашего подъезда. Полиция так и не нашла его убийц, хотя их имена знали здесь даже кошки: в квартале Джесси Каган не говорят с ментами. Эту печальную историю я слышала много раз еще до того, как могла понять значение составляющих ее слов: ведь сорвать вполне оправданный гнев можно было только на мне — невинной, но единственной представительнице родившей меня подлой шалавы. Сказать, что я росла нелюбимым ребенком, — значит не сказать ничего. Бабушка терпеть меня не могла, а дяди упоминали исключительно в третьем лице, словом «эта»: «А где эта?.. Надо бы эту куда-нибудь пристроить... Эта все

больше становится похожей на свою сучку-мамашу...» — и так далее.

Более-менее человеческое отношение я видела лишь от тети Мали — той самой, которая нипочем не хотела оставлять меня в роддоме. Понятно, что она желала мне добра. И все же не исключено, что моя судьба сложилась бы куда лучше и спокойней, если бы я еще младенцем досталась какой-нибудь бездетной интеллигентной паре из богатых районов Тель-Авива... Но сейчас-то чего уж плакать по убежавшему молоку... Забавно, что в моем случае это расхожее выражение можно понимать буквально, ведь мое материнское молоко действительно сбежало вместе с мамашей. Так что давайте остановимся на том, что все, что ни случается, — к лучшему. Вершитель судеб — или тот, кто изображает такового — знает, что делает. Положимся на него.

К сожалению, Мали не могла заменить мне мать: ей нужно было думать о собственном будущем, в ближнюю картину которого совсем не вписывался маленький ребенок — даже свой, не говоря уже о сестринском. Из квартала Джесси Каган не так-то легко выбраться подобру-поздорову. Мали выбралась — через армейскую карьеру, оставив меня на попечение скорбящей бабушки и двух дядьев, отрабатывающих долги убитого брата на углах улицы Зрубавель.

Видит Бог, я изо всех сил старалась быть незаметной и не докучать никому, но это плохо получалось. Маленькие дети имеют досадное обыкновение постоянно вырастать из одежды; их надо кормить, причесывать, завязывать шнурки, отправлять в школу, забирать с улицы в неурочное время. По-видимому, я выглядела настолько заброшенной, что на это обратили внимание даже социальные службы квартала, привычные к вопиющему уровню здешнего

запустения. Когда они заявили в нашу квартиру, Мали там не было: она училась на офицерских курсах и почти не отлучалась с армейской базы. В ее отсутствие вопрос о моей судьбе решился моментально.

— Забирайте! — сказала бабушка.

— Наконец-то! — сказали дядья.

В восемь лет меня передали бездетной пожилой паре из поселка недалеко от Ашдода. Они жили в большом двухэтажном коттедже с подвалом, гаражом и ухоженной лужайкой, по краям которой стояли служебные сарайчики и домик-пряник для барбекю. Мой приемный отец владел на рынке фалафельным киоском, и поэтому от него вечно пахло горелым маслом. Сначала меня подташнивало, но потом я перестала чувствовать этот запах — как выяснилось, на время. Вообще же Цвика — так его звали — казался добрым толстяком, улыбчивым, одышливым и сильно потеющим, как и положено толстякам.

Его жена Жаннет, сухопарая тетка с поджатыми от рождения губами, была помешана на чистоте и порядке. Ей повсюду чудились тараканы — как видно, с прежних времен, когда мои приемные родители еще не накопили на дом и жили в хибаре за киоском. Когда сейчас при мне говорят что-нибудь типа: «У каждого свои тараканы», я непременно вспоминаю ее, с баллончиком ядовитого аэрозоля в руке скользящую по периметру комнат в поиске воображаемых членистоногих врагов. Даже сидя перед телевизором, она постоянно зыркала в сторону плинтуса и время от времени вскакивала с криком:

— Смотри, смотри!

— Оставь, Жаннет, — благодушно откликнулся Цвика.

Он звал ее именно так, с добавлением твердого «д» в начале. Наверно, в устах какого-нибудь Дюма это звучало бы на аристократический манер: д'Жаннет, подруга

д'Артаньяна, но Цвика всего лишь продавал фалафели на ашдодском рынке.

— Оставь, Жаннет, нет там ничего.

— Ну как же, вон он побежал...

Жаннет хватала баллончик и принималась обильно пшикать аэрозолем под диван, отчего в гостиной становилось трудно дышать. Помимо охоты на тараканов, собирания марок игры-лотереи «Супермаркет» и занятий домашним хозяйством она изготавливала кукол — для украшения и на продажу в дома, где в принципе не бывает насекомых. Мне запрещалось даже притрагиваться к этим произведениям искусства, не то что играть. Впрочем, мне и не хотелось. Детских игрушек у меня не было никогда, и я научилась играть в одну-единственную игру: представляла, что меня нет. Что меня нет, и люди ходят вокруг, не замечая моего присутствия, которого нет. Кому придет в голову кричать на девочку, которой нет? Можно ли привязать такую девочку к кровати или к стулу, как это делали, уходя из дома, мои дядья? Вряд ли — ведь ее нет. А если ее все-таки привязали, то можно представить, что привязана вовсе не я, потому что меня нет.

Через две среды на третью к Жаннет приходили заказчицы. Она выставляла свое творение, и женщины принимались увлеченно обсуждать покрой кукольного передника, снимать и надевать предметы кукольной одежды, расчесывать кукле волосы и совершать прочие подобные действия, более присущие девочкам дошкольного возраста. В такие моменты я обычно сидела в уголке, представляя, что меня нет. Со стороны это, наверно, выглядело странно: маленькая девочка смотрит, как пожилые солидные тети играют в куклы.

Думаю, что и меня Жаннет воспринимала как еще одну куклу, предназначенную разнообразить вид салона. Этим

и объяснялось то пристальное внимание, с которым она относилась к моей внешности: я всегда была хорошо причесана и одета с иголки.

— Ну просто куколка! — восхитилась тетя Мали, приехавшая вскоре после моего удочерения, чтобы проверить, все ли в порядке.

Ха! Сама мысль о том, что у помешанной на порядке д'Жаннет может быть не в порядке хоть какая-то мелочь, до смерти насмешила бы любого таракана. На взгляд постороннего наблюдателя, «куколка» Батшева располагала не только собственной спальней, оформленной, само собой, в подчеркнуто кукольном стиле, но и комнатой для игр, где на идеально параллельных полках восседали расставленные строго по росту плюшевые мишки, а в углу сиял чистотой дорогой кукольный дом, похожий на уменьшенную копию хозяйского коттеджа.

Разумеется, я не касалась этого воплощенного совершенства даже мизинцем — из опасения ненароком сломать или просто сдвинуть с места какой-нибудь игрушечный столик. Но как раз этого вышеупомянутый наблюдатель мог и не заметить; в общем и целом выходило, что малолетняя уроженка квартала Джесси Каган вознеслась из преисподней адского прошлого на поистине райские высоты светлого будущего. Жаловаться в такой ситуации было бы крайней неблагодарностью, но я не жаловалась еще и по другой причине: не делала этого никогда, сколько себя помню. Видимо, мне довольно быстро, еще в младенческом возрасте, стало ясно, что жаловаться просто некому.

В итоге тетя Мали завершила свою инспекторскую поездку самыми благоприятными выводами. Это расстроило меня: одно дело — «посторонние наблюдатели» и совсем другое — единственный человек, который когда-либо

отнесся к тебе по-человечески. Я полагала, что уж она-то могла бы быть чуть более внимательной. Возможно, ей просто очень хотелось заключить, что со мной все хорошо. Хотелось сбросить с шеи лишнюю заботу. В то время Мали уже тащила на себе собственную семью: мужа — самоуверенного старшину-сверхсрочника, который изменял ей направо и налево, двух детей-погодков, удушающую ипотеку и надежную, но дурно оплачиваемую службу в одном из мелких муниципальных советов. Если честно, ей было не до меня...

Спустя неделю после визита тети Мали мой приемный папа Цвика сказал, что хочет мне кое-что объяснить. Местом для объяснения он выбрал подвал — не знаю почему: в доме и так никого не было, потому что Жаннет уехала за покупками. Возможно, боялся, что кто-то увидит через окно, или просто оттого, что мерзость не любит дневного света.

— Тебе нравятся мальчишки? — спросил он, усевшись на табурет и взяв мои ладони в свои.

Я пожалала плечами. Что можно ответить на такой глупый вопрос? В ту минуту меня больше интересовал странный вид толстяка: он тяжело дышал, потел больше обычного и постоянно сглатывал слюну, а глаза смотрели растерянно и с каким-то испугом.

— Ты должна кое-что знать, — продолжил Цвика. — Я объясню тебе про мальчишек. Чего они хотят от девочек. Чего девочкам нельзя с ними делать. Потому что иначе ты не поймешь...

Он переложил обе мои ладошки в свою левую руку, а правой расстегнул штаны и предъявил их содержимое. Изо рта у него стекла струйка слюны — забыл сглотнуть.

— Вот что есть у мальчишек, — сказал толстяк. — Не бойся, потрогай. Ну... давай...

Мне было всего восемь, но я росла на улицах квартала Джесси Каган, и меня далеко не каждый день привязывали к кровати или к ножке стола. Я точно знала, что именно находится у мальчишек в штанах и что с этим делают сами мальчишки — как подростки-малолетки, так и взрослые парни. Думаю, я уже тогда была осведомлена о главных деталях процесса ничуть не меньше своего приемного папаши. Когда ты живешь в двухкомнатной живопырке с двумя дядьями-наркодилерами, которые то и дело приводят туда своих обдолбанных подружек, трудно остаться в неведении относительно подобных вещей.

— Не хочу! — крикнула я и попыталась вырваться. — Пусти!

Но проклятый боров не выпускал меня из рук.

— Потрогай... потрогай... потрогай!

Постепенно его интонация сменилась с просительной на требовательную. Теперь он уже кричал.

— Не хочешь?! А знаешь, чем это обычно кончается?! Знаешь?! Я тебе покажу!

И показал.

Мне шел девятый год. Он крепко держал меня, но я и так не могла шевельнуться от боли и отвращения. Именно тогда я поняла, что вовсе не привыкла к вон горелого масла — она хлынула в мои ноздри, как канализационная жижа, — так, что я едва не задохнулась от нехватки воздуха. Жирное животное сопело, дергалось и стонало надо мной, и мне не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к своей проверенной, надежной игре: представить, что меня нет. Это делают не со мной, потому что меня нет. Меня нет. Меня нет...

Кончив, он подобрал слюни, отнес меня, которой нет, в ванную и вымыл.

— Если кому-нибудь проговоришься, тебе не поздоровится... — сказал он, помолчал и добавил: — И твоей тете Мали тоже. Вам обеим не поздоровится. Поняла?..

Это продолжалось без малого пять лет. Пять лет тошнотворной вони горелого масла и хумусных бобов. Пять лет слюнявой пасти над моим лицом. Пять лет отвратительной жирно-студенистой массы на моем теле. Сначала я пробовала прятаться, когда Жаннет уходила, но это лишь ухудшило положение: хряк стал заявляться ко мне по ночам. Потом я стала заворачиваться в простыню на подобие египетской мумии. Это тоже не помогало — беззвучная борьба лишь еще больше распалила насильника. Обычно я угадывала его грядущий приход по сальному, липкому, как столы его поганого киоска, взгляду, который он приклеивал ко мне накануне вечером. В такие ночи я не могла заснуть: мне казалось особенно ужасным, если приемный папаша начнет насиловать меня спящую, когда я еще не ввела себя в состояние «меня нет».

Но мне было не до сна и после того, как, отхрюкав свое потное наслаждение, он сползал с кровати и трусил назад в супружескую спальню. Я вставала и, держа враскоряку руки и ноги, как человек, вылезший из выгребной ямы, ковыляла под душ и стояла там, пока не подкашивались колени. Потом я полностью перестилала постель и возвращалась в нее, когда за окном уже начинало светать. Высыпаться приходилось в другие, спокойные ночи, когда по отсутствию клейкого взора своего мучителя я понимала, что на этот раз мерзость отменяется.

Однажды он вернулся с рынка разбитым и сильно расстроенным. Из его разговора с д'Жаннет стало ясно, что день получился крайне неудачным: на жирного Цвику наехали — то ли полиция, то ли рэкетеры.

— Ног под собой не чувю, Жаннет... — жаловался он, вонючей амебой растекшись по креслу в гостиной.

— Иди приляг, зайчик, — мелодично откликнулась жена.

Судя по тому, как, едва переставляя ноги, «зайчик» поднимался по лестнице, мне предстояла совершенно безопасная ночь. Наверно, поэтому сна не было ни в одном глазу. В какой-то момент мой взгляд упал на календарь, и я вспомнила: пятое ноября — это ведь мой день рождения. Мой тринадцатый день рождения. В квартале Джесси Каган эти дни не отмечались никак, потому что какой же дурак станет отмечать годовщину появления обузы — или, как говорили дядья, «этой». А здесь, в кукольно-фалафельном коттедже, мне становилось дурно от связанной с днем рождения необходимости принимать знаки внимания «приемного отца». Он был одинаково омерзителен и когда трепал меня по щечке, и когда засовывал в меня свою штуку. Когда я сказала Жаннет, что не желаю приглашать подруг, получать подарки и вообще каким-либо образом отличать этот день от других, она удивилась, но не стала настаивать.

Я и сама не очень-то помнила — спохватывалась двумя-тремя днями позже и тут же мысленно отмахивалась: еще один год прошел, ну и фиг с ним, впереди такой же... Не знаю, почему именно тот вечер — вечер тринадцатилетия — вдруг показался мне не то чтобы важным, но каким-то особенным.

«Тринадцать, — думала я, глядя на квадратик календаря. — Тринадцать — это уже не девочка. Моя сука-мамаша была всего на два года старше, когда она забеременела мною. Еще немного, и я свалю от поганого фалафельщика и его воблы. Уйду и даже не оглянусь. Тринадцать...»

Скажем так: мне впервые в жизни нравился мой день рождения. Я заснула с улыбкой. Я проснулась от вони

горелого масла и капель слюны на лице. Надо мной нависал задыхающийся от вожделения толстяк. Стоя на четвереньках, он поворачивал меня на спину. Как же так?! Засыпая, я была настолько уверена в своей безопасности, что даже не потрудилась завернуться в простыню! Он ведь не мог прийти! Я уперлась руками в жирную подушку его груди и закричала:

— Не-е-ет!

— Тихо! — брызнув слюной, прошипел он и зажал мне рот пухлой короткопалой ладонью, которая больше напоминала отвратительную жабу.

«Это ведь мой день рождения! — мелькнуло в моей голове. — В мой день рождения меня изнасилует вонючий боров, а я не смогу даже пискнуть из-за склизкой жабы на своих губах!»

У меня не было времени на подготовку. Я просто не успевала представить, что «меня нет». А может, не хотела больше представлять ничего такого. Я есть! В конце концов, это подтверждалось фактом моего дня рождения — дня моего настоящего рождения. Да-да, в отличие от других людей, я родилась в тринадцать лет. Я есть! И я, которая есть, что есть силы вмазала ногой по болтающимся над моим животом фалафелям. Фалафельщик как раз заносил колено, намереваясь раздвигать им мои бедра, так что удар пришелся прямо по центру ворот. Он ахнул, хватанул ртом воздух и, выдавив из себя неожиданно тоненькое «а-а-а...», плюхнулся рядом с кроватью.

Грохот получился нехилый — по дороге к полу толстяк сокрушил еще и стул, выкрашенный, как и всё в моей комнате, в кукольный розовый цвет. Подобрал простыню и запахнув растерзанную пижаму, я прижалась спиной к стене и ждала, что будет дальше. Я твердо намеревалась сражаться. Я не надеялась на победу, потому что уже тогда

знала, что надежда — плохой союзник. Выходя на бой, готовься к самому худшему. Но распростертая на полу туша не шевелилась. В свете настольной лампы — обычно он зажигал свет, чтобы наслаждаться еще и зрелищем... — в свете настольной лампы я видела, как пузырится слюна на его мокрых подрагивающих губах. Глаза были широко раскрыты и смотрели в мою сторону, но не на меня, а куда-то сквозь — так что мне даже захотелось обернуться, чтобы проверить, нет ли там еще одного чудовища.

Я ждала, что он вот-вот перевернется на четвереньки, потом, задыхаясь, поднимется на ноги и вновь нависнет надо мной своей стопятидесятикилограммовой тушей. Но вышло иначе: на шум прибежала проснувшаяся кукольная аристократка д'Жаннет. Конечно, она прекрасно знала, что муж пристрастился играть с одной из ее кукол. Просто ему, как кормильцу и хозяину дома, позволялись такие чудачества — тем более что других кукол он не касался вовсе...

Встав в дверях, Жаннет окинула взглядом картину и бросилась к мужу. Минуту-другую она, причитая, ползала вокруг него, как муравей вокруг дохлой мухи: заглядывала в глаза, щупала пульс, искала на шее артерию и даже пыталась делать искусственное дыхание. Затем повернулась ко мне. Ее рыбы глаза сверкали от ненависти. Это был первый и последний раз, когда эта сушеная вобла проявляла какие-либо чувства — не только ко мне, но и при мне, вообще.

— Ты! — провизжала она. — Ты! Развратная тварь! Что ты с ним сделала, прошмандовка?! Ты убила его! Убийца! Убийца!..

Из чего я заключила, что муха, возможно, и в самом деле сдохла, хотя следует подождать с окончательными выводами. По опыту квартала Джесси Каган, далеко не всегда

то, что выглядит трупом, оказывается таковым впоследствии. В больнице латают даже множественные ножевые ранения, а уж удар по фалафелям — тем более. Приехала «скорая», и, хотя Жаннет успела натянуть на своего борова штаны, бывалому парамедiku хватило одного взгляда, чтобы проникнуть в суть сюжета. Говоря с Жаннет, он то и дело косился на меня. Невзирая на крики сушеной воблы, которая требовала, чтобы я оделась и убралась вон из комнаты, я продолжала сидеть на кровати, прижавшись спиной к стене и грудью — к простынке, моей единственной защите со стороны фронта.

— Похоже на обширный инфаркт, — сказал парамедик. — Остановка сердца. Мы отвезем его в реанимацию, но вам следует приготовиться к самому худшему.

Жаннет взвыла.

— Девочку мы тоже заберем, — дождавшись паузы в вое, продолжил парамедик. — У нее явные признаки шока. Думаю, помимо полиции придется подключить социальные службы. Это ведь ваша дочь?

— Дочь?! — с ненавистью повторила Жаннет, заливаясь слезами. — Какая она мне дочь?! Развратная тварь! Убийца! Это она его убила! Она! Так и запишите!..

— Запишем, обязательно запишем...

Парамедик подошел и слегка потряс меня за плечо.

— Поедешь с нами, дочка. Было бы хорошо, если бы ты оделась. Ты меня слышишь?

Я взглянула на него и хотела сказать: «Слышу», но не смогла. Это очень странное ощущение, когда у тебя вдруг перестает ворочаться язык. Да что там язык — даже рот. Рот попросту отказывается открываться для слов. Открывается для дыхания, для еды, для плевка — но только не для слов. Удивительная вещь.

Парамедик удовлетворенно кивнул: похоже, моя реакция — вернее, отсутствие таковой — блестяще подтвердила его первоначальный диагноз. Нам пришлось ждать приезда второй «скорой», потому что вынести и погрузить тушу фалафельщика силами одной не представлялось возможным. Перед тем как сесть в машину, Жаннет сказала, что должна запереть дом, и предложила всем выметаться, включая меня.

— Не позволите ей хотя бы одеться? — без особой надежды в голосе спросил парамедик.

— В тюрьме оденут! — огрызнулась вобла. — Вон! Все вон!

Больше я ее не видела. Фалафельщик Цвика и в самом деле отдал концы. В больнице меня сдали с рук на руки тетушке из социальной службы, которая долго, участливо и абсолютно безуспешно пыталась добиться от меня хотя бы звука. Затем к ней подключилась симпатичная девушка в полицейской форме — с тем же результатом. В квартале Джесси Каган не говорят с ментами, но мое упорное молчание было совсем иной природы. Я ведь и сама не могла добиться от себя ни звука.

Наверно, это и называется шоком. Как-никак, я убила человека. Не борова, не хряка, не животное, не чудовище — человека, хотя он и поступал со мной в точности как мерзкий чудовищный хряк. Да, в графе «причина смерти» записали «обширный инфаркт», или «ишемическая болезнь сердца», или еще какую-нибудь мудреную медицинскую фразу, но это ничуть не меняло того факта, что, не пни я его по фалафелям, он еще жил бы и жил. Получалось, что я — убийца. Пусть невольная, пусть в пределах самообороны, но — убийца. Я, Батшева Зоар, начавшая жить лишь в тринадцать лет, не нашла ничего лучшего,

как отметить начало своей жизни убийством. Наверно, это и в самом деле заслуживает шока.

Способность говорить вернулась ко мне примерно полгода спустя в приюте для малолетних жертв домашнего насилия. Обязанности заведующей, воспитательницы, няни и утешительницы исполняла там одна-единственная женщина с сильным американским акцентом и символическим для меня именем Джессика. Во время нашей первой встречи, не получив ответа ни на один из заданных вопросов, она понимающе кивнула.

— Молчишь? Ну молчи, не страшно. Тут многие начинают с молчания... — она указала на высящиеся вдоль стен стеллажи. — Попробуй общаться с ними. Книжки — самые разговорчивые друзья в мире, и главное — никого не обижают.

Я попробовала, и мне понравилось. Собственно, особого выбора там не было: Джессика принципиально обходилась без телевизоров и прочих мерцающих поверхностей, включая компьютерные мониторы и экранчики смартфонов. За два с небольшим приютских года я проглотила почти всю тамошнюю библиотеку. Книжки мало-помалу вернули меня и к речи, и к жизни.

Шломин, одна из моих ровесниц, попала в приют из Нетании — так она сказала, когда мы познакомились. Шломин Царфати из Нетании и Батшева Зоар из-под Ашдода. Потом, когда мы подружились по-настоящему, выяснилось, что она из квартала Джесси Каган. Узнав об этом, я расхохоталась.

— Чего ржешь? — обиделась Шломин. — Не все, кто из Джесси-факинг-Каган, шлюхи...

— ...и наркоманки, — дополнила я сквозь смех. — Взять хоть меня. Ну что вылупилась? Я тоже из Джей-Эф-Кей, будь он здоров...

Так мы нашли друг дружку, две джей-эф-кейки — в приюте для малолетних жертв насилия, где же еще. Шломин была старше меня на два месяца. Когда ей исполнилось пятнадцать, мы поехали на вечеринку в честь ее дня рождения. Праздновали в большой квартире ее старшего брата, в том же квартале Джесси Каган. Брата звали Мени. Под конец вечера он взял меня под локоток и сказал, что хочет кое с кем познакомить. Тут бы мне вспомнить фалафельщика, но я была уже порядком обкурена и пошла. Мени завел меня в спальню и без лишних разговоров толкнул на кровать.

— Ты что?

— А то тебе непонятно, — сказал он, деловито залезая мне под юбку. — Лежи спокойно, а то придушу.

— Я не хочу! — сообщила я.

Мени засмеялся.

— Все телки хотят. Просто не все они об этом знают. Кроме того, ты мне нравишься. Я не шучу.

И я подумала: «Почему бы и нет? Он все равно сильнее и уже стягивает с меня трусы. Парень симпатичный, хотя, говорят, бандит. Ну и что? Мои дядья тоже дилеры. Это ведь Джесси-факинг-Каган...»

В общем, несмотря на то что я не стала кричать и сопротивляться, такие вещи называются изнасилованием. В приюте нас учили сразу заявлять о подобном в полицию. Но, во-первых, в Джесси Каган не говорят с ментами, а во-вторых, Мени действительно не шутил — и про «придушу», и про «нравишься». Мы стали встречаться, а через три месяца я и вовсе переехала к нему жить.

Квартал Джесси Каган — не какая-то там река, в которую нельзя войти дважды. Круг замкнулся, когда я обнаружила, что беременна. Моя сучка-мамаша родила меня в шестнадцать лет, а теперь вот и я шла тем же фарватером.

И хотя, в отличие от сучки, я точно знала, кто меня обрюхатил, это было слабым утешением. Отец из Мени получился, мягко говоря, хреновый. К моменту нашей встречи он отсидел уже два коротких срока. В Джей-Эф-Кей большинство парней разгуливают с ножичками, но далеко не все вытаскивают их, чтобы пустить в ход. Мени славился в этом отношении особенной безбашенностью. Он предпочитал работать опасной бритвой и сразу предупредил, чтобы я не вздумала выпендриваться:

— На первый раз порежу морду, на второй — глотку, так что третьего не будет.

И, судя по тому, что я о нем слышала, Мени Царфати не разбрасывался пустыми угрозами. Он заправлял бригадой, которая охраняла территорию квартала от вторжения конкурентов: арабских кузенов из Яффо и братьев-евреев из Бат-Яма. Поговаривали, что именно Мени зарезал своего отца, Царфати-старшего, — того самого, из-за которого оказалась в приюте моя подруга Шломин. Он сидел на кокаине, но старался не злоупотреблять, чтобы не разочаровывать боссов. Поэтому наша совместная жизнь металась, как шарик в компьютерной игре, от ломки к обдолбанности и обратно.

Думаю, я бы тоже подседа, если бы не малыш. Я сохранила его — сначала в животе, а потом на руках — только из-за смертельной обиды на свою собственную мать, только потому, что не хотела походить на нее, повторять ее подлость. Мени потребовал назвать малыша Ариэлем, Ариком — в честь своего покойного отца.

— Того, которого ты зарыл под дюной? — саркастически поинтересовалась я, хотя в принципе не возражала против имени.

У этого бандита хотя бы был отец — в отличие от меня, моей матери и, видимо, моей бабки. А уж зарезал он этого